

Юрий Гончаров

Гончаров Юрий Данилович (1923–2013). Прозаик, мемуарист. Участник Великой Отечественной войны. Лауреат Государственной премии РСФСР. Член Союза писателей СССР с 1949 года.

В ГОЛУБОМ БЛЕСКЕ АЛЬТАИРА

1

К рассвету холодало до нуля. Но палатка художника была из толстого брезента, спальный мешок из птичьего пуха, с капюшоном для головы. Художник забирался в него в шерстяном свитере, лыжных брюках из ворсистой байки, шерстяных носках, и спать было тепло. Вылезать из мешка на покалывающий морозными иглами воздух — вот это было неприятно. Вечером палатку кропили недолгие дожди, превращались в ледяную кору на двускатной брезентовой крыше. Когда художник, раздвинув дверной проем, выбирался наружу, палатка шаталась, ледяной покров трескался, прозрачные пластины со звоном осыпались на окаменевшую землю. «Как цыпленок из яйца!» — каждый раз с усмешкой говорил себе художник.

Карминной полоской тлела на востоке скупая осенняя заря. Казалось, в ней нет даже усилий разгореться смелее, ярче. Окружающую луговину покрывал сумрак, в котором тонули, расплывались все краски, как будто их и не было вовсе. Над озером, у которого стояла палатка, над окаймлявшими его сухими камышами медленно клубились на одном месте седые волны холодного липкого тумана.

Где-то далеко в стороне, за невысокими плоскими буграми, находилось коровье стойбище. В час, когда просыпался художник, там уже слышались позвякивание ведер пришедших из деревни доярок, их покрикивания на непослушную скотину. Сильный, чистый девичий голос запевал песню; ни слов, ни мотива было не разобрать, но художник замирал, слушал. Серый вязкий туман, мертвая тишина спящей, еще не пробудившейся луговины, оловянного озера без противоположного берега, словно бы не существующего совсем, робкая осенняя заря, далекий девичий голос, то взлетающий высоко, то пропадавший, неслышный, — это

было так красиво, сказочно, будто сложилось не само по себе, а по воле и замыслу какого-то невидимого режиссера.

Пока звучала песня, сколько бы она ни длилась, художник, выбравшийся из ледяной скорлупы палатки, в объятиях сырого, пронизывающего холода, неподвижно стоял на одном месте, замороженно слушал — и не одним только слухом, но и всем, что только в нем было живого, весь распахнутый долетавшим до него звукам. Однажды ему захотелось пойти навстречу песне, увидеть ту, что творит это сказочное диво, но тут же он представил, что увидит на колхозном стане: обветренные, нажженные летним зноем лица преждевременно увядающих доярок, шелушащиеся, потрескавшиеся губы, щербатины и черные провалы в зубах, намоленные руки с синевой под ногтями, — и сказка испарится, обернется грубой, отталкивающей реальностью. И он не пошел, не стал разрушать очарование, сложившееся в его душе.

На берегу, у самой воды, лежало втоптанное в грязь поленце, с которого было удобно зачерпывать ладонями воду и умываться. Художник плеснул из горсти в давно не бритое лицо, крепко потер лоб, щеки. Бодрящая свежесть побежала внутрь тела. Как ни колко покусывал утренний, словно бы наполненный иглами воздух, но художник решительно сбросил с себя свитер, рубашку и, обнажившись до пояса, пугаясь режущего холода и одновременно наслаждаясь им, фыркая, вскрикивая, стал охлестывать грудь и плечи ледяной озерной водой, разлетавшейся вокруг него сверкающим бисером.

В трех шагах от палатки на палке и воткнутой в землю рогулька висел закопченный чайник. Охапка хвороста из недалней рощицы, положенная возле кострища с вечера, за ночь стала сырой, сучья, как и палатку, покрыл тонкий ледок. Разжечь их было непросто, но художник любил эту ежеутреннюю непростую задачу — разжигание костра, приладилась с ней справляться, и через пару минут под чайником уже плясали язычки веселого рыжего пламени и косо тянул в сторону сизый дымок, растворяясь в тумане над луговиной, бесследно с ним сливаясь.

Пара кружек горячего чая с луговой мятой и щепотью сухого зверобоя в заварке еще более укрепили и подняли в художнике ощущение здоровья и крепости всего тела, настроение его духа. Он был молод, тридцати с небольшим лет, пока еще не знал ни с какими серьезными болезнями, порой, особенно вот в такие утренние часы, ему казалось, что хвори и слабость сил вообще никогда его не посетят, с таким запасом всего, что отпустила ему природа, жить ему долго, даже не до ста лет, — бесконечно...

Теперь в мягком розовом свете нарождающегося дня, в пожаре багровой зари, выплеснувшей в небо все свои богатейшие краски, художнику предстояло самое великое наслаждение, какое таил и мог дать этот озерный край с непроходимыми зарослями трав на бескрайних лугах, частым посвистом утиных стай над головой, тренирующих свой молодняк перед отлетом в теплые страны, с тихими малолюдными деревеньками под камышовыми и обомшелыми соломенными крышами: ужение рыбы на поплавочные удочки из гибких ореховых прутьев.

Летом ловилась, в основном, плотва, плоские лещи, толстобокие караси в чешуе из золотых, старинной чеканки, монет. А сейчас, осенью, на приманку брали лишь одни полосатые окуни. Окуня прозвали так за то, что он, хватая наживку, сразу же резко и глубоко топит — окунает — поплавок. Но здешние окуни вели себя совсем иначе. Поплавок они не топили. Проглотив наживку с крючком и почувствовав, что их обманули, их окуневое дело плохо, они для чего-то описывали в глубине круг; поплавок на поверхности воды тоже описывал круг и останавливался. Окунь в глубине замирал и начинал ждать неизвестно чего. Может быть, того, что произойдет чудо: подплывет какой-то неизвестный избавитель и вынет крючок из пасти. Вот тут, когда поплавок, описав круг, останавливался — и надо было подсекать.

Художник давно разгадал повадки местных окуней и всегда бывал с добычей.

Сев в резиновую надувную лодку, он продрался по узкому, проделанному им самим рукаву в зарослях камышей на чистую воду, поставил лодку на якорь из камня с веревкой при выходе из рукава — и раскинул свои удочки.

Их было три. На крючки были насажены живые, шевелящиеся навозные черви, что ему почти ежедневно приносил из деревни его малолетний дружок Петька, а поплавки поставлены на разную глубину: никогда не знаешь, как, на каком «этаже» в этот раз ходят окуни. Две-три поклевки — и только тогда становится ясно, как следует отпускать в глубину крючки.

За полчаса художник на свои три удочки наловил с десяток полосатых окуней длиной с ладонь и больше удить не стал. Наваристая уха ему на обед обеспечена, а на ужин он подловит потом, ближе к вечеру. Новые рыбацкие радости и новые приятные удовольствия.

После полудня явился Петька. Он был подпаском у пастуха «общественного» стада — десятка бурых и бело-рыжих коров, ходил во взрослых сапогах с прилипшей к подошвам грязью, тяжело таская их на своих худых ножонках, в ватном трухе с торчащими из прорех клочьями ваты — тоже с чьей-то взрослой головы.

Петька принес художнику каравай хлеба, испеченный матерью; поселяясь у озера, художник оставил ей запас муки, деньги и договорился, что со своим хлебом Петькина мать раз в неделю будет печь и для него. И еще Петька принес с почты газеты, накопившиеся за неделю. Их получила целая пачка.

От аппетитного, пахучего ржаного карава я художник тут же отрезал хрустящий на зубах бочок, а газеты бросил в палатку, чтобы посмотреть потом, без Петьки. Петька не дал бы ими заняться. Приходя к художнику, он непрерывно разговаривал, каждый раз его о чем-нибудь пытливо расспрашивал. В этот раз мальчишку интересовало московское метро: как это сделано, что поезда ходят под землей? А куда же девается дым? Электрического поезда без дыма и жарко горящей топки Петька еще ни разу в своей жизни не видел и представить себе не мог.

Потом Петька долго выспрашивал про папанинцев, которых высадили на Северном полюсе. Ведь там только снег и лед, никакого подножного корма. А их четыре человека, да еще с ними пес, его тоже надо кормить. А собака ест даже больше взрослого человека. Сколько же надо папанинцам продовольствия, ведь их экспедиция запланирована на год! А кончится еда — тогда что? Лед и снег есть ведь не станешь...

Под конец Петька спросил: нарисовал ли художник новые картинки? Про них Петька спрашивал в каждый свой приход. Художник показывал, а Петька смотрел с жадным любопытством, и от каждого рисунка приходил в восхищение. Художник не раз предлагал Петьке карандаши и бумагу: попробуй нарисовать что-нибудь сам. Хотя бы избу, в которой живешь. Но Петька впадал в испуг, краснел, отрицательно мотал головой: нет, нет, у меня не получится.

Когда Петька ушел, шкрабая по земле тяжелыми сапогами, художник развернул принесенные им газеты. Во всех было то же самое, что и неделю назад, и две недели назад: «Советский народ единодушно клеймит подлых двурушников, наймитов мирового империализма! Никакой пощады врагам народа, смерть изменникам, шпионам и диверсантам!» — кричали глазастые заголовки с каждой газетной полосы.

На черном, с серебряным пеплом кругу кострища под слоем золы еще были живы, рдели красные угольки. Художник бросил на них всю увесистую пачку газет. Какое-то время они лежали, будто огонь не имел права их коснуться, был против них бессилен; потом все гуще, гуще потянулся из-под газет дым, и пачка вспыхнула, занялась, чтобы через минуту стать клочьями тонкого черного пепла, шевелящегося, словно крылья готовых вспорхнуть и разлететься бабочек...

Солнце сместилось к западу, к древнему возвышенному коренному берегу низины с лугами, озерами и протоками между ними, на котором стояла Петькина неказистая деревенька. Опускаясь, оно светило уже сзади палатки; от нее к камышам и озеру тянулась косая, узкая тень. Когда ее кончик достигнет воды — самая пора выезжать на вечерний лов.

Художник уже сдвигал на воду подкаченную, с положенными в нее удочками лодку, и в эту минуту за спиной его прозвучал хрипловатый басок: «Погодь, Макарыч, погодь, и я с тобой... Меня захвати!»

По дорожке, что вела к берегу из деревни, подходил Илья Мурашов, давнишний приятель художника. Они вместе кончали училище, вместе работали вот уже почти пятнадцать лет в художественных мастерских. Только Мурашов был шрифтовиком: великолепно выполнял таблицы, диаграммы, лозунги, всякого иного рода заказы, где требовалось владение всеми видами букв и надписей. Пейзажную живопись он любил больше своего ремесла, которым кормился, обязательно присутствовал на открытии всех выставок, был на них самым внимательным зрителем, в свободное время иногда набрасывал маленькие пейзажные картинки, и получались они очень даже неплохо, но дать их на выставку он решительно отказывался, говоря советчиком: «Бросьте, ребята, ну какой я живописец, нет во мне Левитана и на полкопейки. Только стыдиться...»

На Мурашова была ватная стеганка, резиновые сапоги, суконный картуз с козырьком, низко нависавшим над его картофельным носом. За спиной походный рюкзак, в руке — пара связанных тесемкой складных удилиц. Месяц назад, в еще теплую пору августа, он прожил с художником в его палатке целую неделю; удили плотву и лещей, на ужин выпивали по стопке-другой, после чего уха или кулеш с салом и луком казались объединением, без конца разговаривали. Убывая назад, в город, Илья Мурашов пообещал появиться ровно через месяц, — и вот месяц миновал, и он день в день здесь.

Как был — в резиновых сапогах, картузе, ватнике — Мурашов, только скинув на траву возле палатки заплечный рюкзак, залез к художнику в лодку, повозился, поудобней устраиваясь, и они отчалили. Первым поймал окуня Мурашов. Ему всегда везло, хотя он совсем не был страстным рыбаком, никогда не мечтал об улове и не хотел его так, как его друг Серафим, плохо знал рыбные повадки, какая нужна привада, однако же неизвестно почему всегда налавливал больше Серафима. Рыбачье дело, рыбацкие удачи совершенно непредсказуемы. Существует много примет, правил, советов, указаний, но большей частью на практике они не оправдываются; старый опытный рыбак — с пустым садком, а новичок, неуч, по какой-то прихоти избранный природой в счастливики, на зависть знатокам и специалистам тут же, рядом с ними, тягает одну рыбину за другой...

Провести на берегу в гостях у художника неделю, как в прошлый раз, терпения у Мурашова не хватило, ночью он страдал от холода, хотя спал, не раздеваясь, под двумя шерстяными одеялами, а сверху еще накрывался ватником. Но полных три дня Мурашов пробыл. Опять у них было, как прежде: ловили рыбу, варили то уху, то кулеш, ходили в рощу за сучьями, любовались на краски утреннего и вечернего неба — и разговаривали, разговаривали: в лодке, сидя за поплавками, у костра, помешивая деревянной ложкой кулеш, в палатке перед сном, лежа рядом, художник — в своем арктическом спальном мешке, Мурашов — под шерстяными одеялами и ватником. Если бы изложить их разговоры подряд, как они звучали, получилась бы стенограмма в тыщу, а то и две страниц. А если бы отобрать самое главное, важное, то вышло бы, пожалуй, не так уж и много. Они перебирали судьбы знакомых обоим людей, постигшие их за истекший месяц. Этот

арестован за то, что когда-то, много лет назад, рассказал в компании коротенький анекдотец: почему Ленин ходил в ботинках, а Сталин ходит в сапогах? А потому, следовало разъяснение, что Ленин выбирал дорогу поровней и посуше, а Сталин прет напролом. Бог знает когда прозвучал этот анекдот, знакомый художников в ту пору был еще совсем желторотым юнцом, болтал, не думая, что носилось в воздухе, что говорили другие, но кто-то из слышавших этот случай запомнил и теперь мстительно, а может, выслуживаясь, стараясь показать себя бдительным патриотом, капнул куда следует... Другой избалован в том, что «забыл» в анкете указать, что один из его ближайших родственников, а именно — брат жены, участвовал в восстании кронштадтских матросов, был за это отправлен на остров Мудьюг вблизи Архангельска и там вместе с сотнями других кронштадтцев расстрелян. Теперь этого «забывчивого» товарища будут разбирать на партийном собрании, из партии, конечно, исключат, а следом, несомненно, арестуют. За родственную связь с активным противником советской власти, пытавшимся ее свергнуть с оружием в руках; связь умышленно скрыл, чтобы пролезть в партию. А для чего пролез? Ясно, для чего: чтобы под маской коммуниста мстить за репрессированного шурина, вредить партии и государству. Третий...

— А Рита Куприянова, с ней-то как? — после очередной, десятой, наверное, истории спросил Мурашова Серафим.

Рита была их сокурсницей. Маленькая, шустрая, такой забавный круглый колбочек. Но талантлива чертовски. Природа дала ей дар портретиста. Черты лица она схватывала моментально, всего лишь раз посмотрев на человека. И писала потом уже не глядя. «Никто, — говорил, удивляясь, ее наставник — старый, все-российски известный художник Бучкури, — ни Репин, ни Серов так бы не сумели, а она может, у нее получается... Чудеса да и только!»

Ее мужа, газетного сотрудника, арестовали за проскочившие в газете опечатки. А она — член партии, должна реагировать соответствующим образом на такое событие в своей семье.

— Перед ней поставлен ультиматум, — ответил Мурашов, — или она публично, на собрании, отрекается от мужа и клеймит его как долго прятавшегося, а теперь наконец-то разоблаченного врага, или разделит его судьбу. Относительно таких жен имеется приказ Ежова: если своевременно на мужа не донесла — считать соучастницей его вредительской деятельности, восемь лет лагерей. Если имеются дети — отбирать, начиная с годовалого возраста. Постарше — тоже в лагерь, младенцев — в детские дома особого режима.

От такого рода известий в беседе художников наступала долгая пауза.

— Просто вакханалия какая-то. Безумие... — задумчиво произносил Серафим. — Нормальные люди не могут такое творить. Жены пишут доносы на мужей, мужья на жен, дети на отцов, отцы на своих детей... В ходу, в почете клевета на друзей, на самых себе близких... В душах людей словно открылись вулканы, бездны самой омерзительной дряни — и она хлещет наружу, затопила уже всех с головой...

— Ну, а Вероника? — спросил в одну из ночей своего друга художник. Это был самый трудный, самый болезненный для него вопрос. Вероника была его женой, большой, давней, всезахватывающей и непотухающей любовью. Познакомились они на первом курсе и сразу же стали неразлучны. Вероника специализировалась в области народного творчества, особенно увлекало ее изготовление кружев и вышивок. Оба они были членами комсомола, он — без всякого усердия и интереса, просто потому, что все вокруг были комсомольцами, так было принято, не вступать, отказаться — значило превратиться в белую ворону, навлечь на себя неприятности. Вероника с удовольствием активничала, участвовала во всем, куда звали, куда тянули: в художественной самодеятельности, в каких-то проверках и

комиссиях, была политинформатором для пенсионных стариков и старушек в многоквартирном доме, к которому ее прикрепили, пионервожатой у школьников младших классов. После окончания училища Серафима приняли в художественные мастерские исполнителем разного рода заказов, а Вероника осталась на прежнем месте, в училищных стенах, ей нашлась работа там. Он и оглянуться не успел, как она уже обзавелась партийным билетом, ее назначили заведовать учебной частью, она стала регулярно заседать в райкоме партии в разных комиссиях, а потом и в бюро. Пошел слух, что ее, возможно, возьмут в горком и не на какую-нибудь рядовую должность, а заведовать и руководить всей культурной жизнью города...

Серафиму, знающему уровень развития Вероники, ее кругозор, что и сколько она в своей жизни читала, ее суждения и оценки того, что существует и появляется в искусстве, такая должность для нее показалась невозможной, просто чья-то шутка или стопроцентная нелепость, нонсенс. Но сама Вероника нисколько не сомневалась, что отлично справится с такой ролью, поведет культуру по верному пути. Выправит вредные и неправильные загибы и отсечет то, что, по ее мнению, надо решительно отсечь.

В частности, она собиралась запретить джазовые оркестры, игравшие по вечерам в садах и парках. «Это не наша музыка, — говорила она убежденно, а если ей возражали, то прибегала к цитированию Горького, его антиамериканских статей. — Зачем нам обезьянничать перед Западом, перенимать их растленные вкусы? Пусть они наши перенимают, здоровые, жизнеутверждающие. Разве это музыканты — эти джазисты, что у них за инструменты в руках, какие звуки! Мяукают, крикают, вопят, кривляются... Пусть «Катюшу» играют, какая замечательная, бодрая мелодия, как под нее весело танцевать!»

Если Серафиму было непросто спросить о Веронике, то Мурашову было так же непросто, затруднительно о ней рассказать. Он знал о трещине в отношениях его друга со своей женой, знал и о том, что все-таки друг его полностью к ней не отстал, и, скорее всего, это — никогда не случится. Вероника же Мурашову всегда не нравилась, а в последнее время он и вовсе испытывал к ней одну только антипатию. Мурашов долго молчал, потом все же заговорил, но замедленно, выбирая слова. Чувствовалось, что он говорил далеко не все, что знал и мог бы сказать.

— Вероника... Она, как всегда, в первых рядах, оправдывает возложенное доверие... Как представитель райкома выступает на горячих собраниях в разных коллективах, куда ее пошлют, клеймит, призывает... Выше бдительность, больше критики и самокритики, долой политическую близорукость!.. Провела чистку в нашем училище. Помнишь Мухину Антонину Павловну, старушку в пенне, она нам древнее искусство преподавала? Так вот, теперь этой Мухиной в училище нет. А с ней убрали еще двоих или троих преподавателей. Не тот у них идейный подход к предмету своих лекций, не та классово-политическая направленность. А Мухиной всего полгода до пенсии оставалось. Теперь она безработная — и таковой останется. Тетка она знающая, ничего не скажешь, но кто ж рискнет ее на какую-либо работу взять с теми ярлыками, что на нее налепили: и политически близорука она, и подлинная марксистско-ленинская идеология у нее отсутствует...

— В мастерских у нас знают, что ты ко мне поехал? — спросил приятеля Серафим.

— Да ты что, конечно же, нет. Я в Боброве, на собачьей выставке. В газетах появилось объявление: в такие-то числа в Боброве выставка породистых собак с продажей щенков. Это объявление я вырезал, всем показал: выставка, продажа, еду за щенком, вы же знаете, как я давно мечтаю завести собаку...

— Ну, а мое долгое отсутствие как трактуется? Какие разговоры?

— Как прежде — на этуодах. Да по правде сказать — почти никто и не вспоминает. Такая катавасия, каждый занят собой, своими делами, заботами. Своими страхами.

— И даже Панков не интересуется мной?

— Не знаю. Может, интересуется. Но меня он про тебя ни разу не спросил. Ему сейчас тоже не сладко, себя надо спасать. Тронул он одного человечка, за выпивку, а тот кусачим оказался, сам на Панкова бочку: ты на себя оборотись, в твоём хозяйстве что творится — полный развал политучебы, за три месяца ни одного занятия! Коммунистическое воспитание коллектива в условиях обострения классовой борьбы — наиважнейшее дело, а ты хрен свой на него положил! Это с какой такой целью, позволь тебя спросить? Как это называется на настоящем партийном языке? Это тебя надо на собрании разбирать, а не меня, тебе политическую оценку давать. Я что, ну — напивался, есть грех, не отрицаю. Ну и что? Проплюсь — и опять я каков есть, моя рабоче-крестьянская личность чиста, вся на виду. А вот ты нутром какой — в этом еще хорошенько разобраться надо. И разберемся! Я тебе гарантирую, — разберемся! Панков аж побелел. Пьяная ахинея, Митька этот, столяр с подсобного цеха, едва на ногах стоит, а ведь не шутка — во весь голос, при людях. С такими обвинениями запросто можно вслед за другими загреметь...

Панков, парторг в мастерских, где работали Серафим и Мурашов, тощий длинноногий верзила, сутуло гнувший хилые плечи, с черной сальной гривой, свисавшей сзади на осыпанный перхотью воротник, с длинным, острым, как птичий клюв, носом, был похож на голодного грача, что ходят весной по чернозому за пахарем и жадно хватают выпаханных им земляных червей. Он не был художником, ни к какому виду искусства не имел никакого отношения, никто не помнил и не мог бы объяснить, откуда и по какой причине появился Панков в художественных мастерских, какую имеет профессию, умеет ли он вообще что-либо делать своими руками, но кому-то из высокого начальства и для чего-то он был среди художников нужен и потому пребывал в их коллективе давно, много лет, и держался прочно. Если переставал быть парторгом, то становился председателем профкома или заместителем директора мастерских по хозяйственной части, а через какое-то время за неизвестные заслуги снова воцарялся во главе партийной организации.

Однажды, в начале лета, этот длинноносый обсыпанный перхотью грач зазвал Серафима в свой кабинетик, посадил в кресло перед столом, завел разговор о каких-то несущественных вещах. Серафим почувствовал, что приглашение в кабинет и пустяковый разговор — неспроста, это только мягкий подходец, а затем следует то, зачем, собственно, он и потребовался парторгу. И не ошибся. Так оно и оказалось. Покалякав о том, о сем пяток минут, Панков закрыл на ключ дверь, положил перед Серафимом лист бумаги и предложил написать о некоторых его товарищах по работе. Парткому известно, — с нажимом, вонзив в Серафима исподлобья колючий взгляд, произнес он, — что такие-то и такие-то часто собираются тесным кружком, выпивают, ведут разговоры о делах в деревне, о жизни колхозников.

Замечен в этой компании и Серафим. Так вот — надо подтвердить: в каких выражениях, кто именно критикует политику партии, проведенную коллективизацию. Один из участников этой компании нарисовал на вождя карикатуру: горят дрова, кипит котел, в котле корчатся человечки. На одном написано — Троцкий, на других — Каменев, Зиновьев, Рыков. Над ними повар в белом колпаке с черными усами, с черпаком в руке. И подпись: «Этот повар умеет готовить острые блюда». Слова Ленина о Сталине. Но то, что сказал когда-то создатель партии и государства, имел право говорить только он один, и не

должен повторять каждый, а сейчас, когда трется тесное сплочение и единство, да еще с таким рисунком — это просто контрреволюция, охаивание и поношение вождя. Кто пустил по рукам эту карикатуру, кто ее автор? Партком это знает, но надо подтвердить. Серафим известен как честный, ничем дурным не запятнанный человек, именно поэтому и обращается к нему партком за помощью...

Писать что-либо на листе положенной перед ним бумаги, подтверждать собранную Панковым информацию Серафим категорически отказался, сославшись на то, что никогда не сталкивался с антипартийными настроениями в кругу художников. Про карикатуру же он вообще слышит в первый раз: никто такого рисунка ему не показывал, ни в чьих руках ничего подобного он не видел.

Через несколько дней Панков позвал Серафима в свой кабинетик снова и повторил предложение — теперь уже напористо, заявив, что свое свидетельство Серафиму все равно придется дать, но только беседовать с ним будут уже другие люди, в других стенах и другой обстановке. Серафим снова ничего не написал, а на следующий же день уехал из города, попросив передать начальству, что уезжает на этюды, и только одному Мурашову сказав — куда именно...

В последнюю ночь Мурашов решился спросить друга: долго ли он намерен вот так робинзонить: в брезентовой палатке, на берегу, с удочками, кормясь, в основном, собственным уловом? Надо возвращаться в город. Все равно рано или поздно придется возвращаться к оставленной работе, прежней жизни, людям, среди которых он все время жил...

— И что — смотреть в лица и думать: этот меня уже предал, что-то про меня написал и что-то наговорил, а этот, если потребуют, прижмут, не устоит, подпишет все, что подsunут, подтвердит, что прикажут... А ночами не спать, прислушиваться: вот едет, тарахтит за окнами автомобиль. Уже не «ворон» ли? А если «ворон» — то за кем? Остановился как раз возле дома. За мной?.. Призовут на собрание. Не пойти — сразу же полезут в потроха: почему уклоняетесь, как это понимать? А прийти — значит, быть свидетелем, как хорошему человеку или сразу нескольким кости в муку дробят. Молчать — подло, а заступиться, выкнуть — тебя тут же самого в муку...

— Так уж тогда в деревню перебирайся, к той хозяйке, что тебе хлеб печет. Здесь же ты долго не выдержишь. Сентябрь на исходе. Еще малость — и снег повалит.

— Да вот думаю, что предпринять, — уклончиво ответил художник. — Что-то предпринимать надо...

Они отсидели в лодке еще одну утреннюю зорю, поймали по паре крупных окуней. Потом выпили у костра чаю с запахами мяты, молодой ивовой коры. А потом Мурашов связал свои удочки, уложил рюкзак, и в том же точно виде, в каком пришел к Серафиму гостевать, пошел в сторону деревни. Шесть верст до нее, там — на попутную машину, еще сорок верст по грейдеру до станции железной дороги, и часов через пять — город с громом и звоном проезжающих трамваев, гудками автомобилей, суетой людского муравейника. С его бурными страстями, которых не избежать, от которых никуда не скрыться, они достают даже вот на таком далеком пустынном озерном берегу, где стоит одинокая брезентовая палатка...

Серафим отдал другу всю рыбу, что наловили они вместе, завернув ее в широкие листья лопуха. Пусть привезет с собой в город, пусть подольше сохранится у него память об озерной воде, прозрачной до самого дна, о золотых, высушенных до звона камышах, что-то тихо шепчущих даже в полное безветрие, о свежести лугового воздуха с запахами бесчисленного множества трав...

В ковриге хлеба, принесенной Петькой в последний раз, было не меньше трех килограммов. Солидный запас. В одиночку художнику его хватило бы надолго. Но вдвоем с гостем они уничтожили ковригу полностью, и когда появился Петька, художник велел ему передать матери, чтоб прислала хлеба.

— По-моему, она вроде сегодня печь собиралась.

— Сегодня. Но теперь не будет, повестили, чтоб все в правление на собрание шли, осуждать председателя Василия Кузьмича.

— Чего-чего? — переспросил художник, полагая, что ослышался.

— Василия Кузьмича, председателя, осуждать.

— Осуждать? За что?

— Так он же арестованный. Ночью из района приехали и увезли.

— Что же он сделал?

— Враг народа оказался. Матерый вредитель. И еще он ставленник этого... ну, самого главного, что в области был. Которого еще раньше арестовали.

— Рябцева, секретаря обкома?

— Этого самого.

— Ставленник?

— Так парторг сказал. А ему из райкома сказали.

— Ну и ну!.. — только и смог выговорить художник. Василию Кузьмичу, председателю колхоза, было за пятьдесят. Седой, тяжеловатый, неторопливый. Два года назад его за успехи колхоза наградили орденом Ленина.

Хозяин он был действительно хороший. Все планы — и по зерну, и по молоку, и по развитию поголовья скота — выполнены раньше других колхозов в районе, по-честному, без приписок. Народ его любил: не самодур, не ругатель, не запивоха, как многие другие председатели, всегда помнит о людях, их нуждах. Оплата трудней у него самая высокая в районе, построил детский садик, отремонтировал школу; без препятствий в правлении можно выписать на топку солому, навозные кизы, сепарированное молоко с фермы. Не один раз бывал в Москве на съездах передовиков сельского хозяйства, гордость и слава района, портрет его не сходит с доски почета в районном центре. И теперь вот, значит, ставленник врага народа и сам заклятый враг...

Петька помог художнику подкачать воздух в резиновую лодку, ему нравилось действовать насосом, слышать, как шипит впускной клапан, нажимать рукой на резиновые борта и проверять — качать ли еще, или хватит, они уже тугие.

Как всегда, он захотел посмотреть новые рисунки художника. Пока гостил Мурашов, художник почти не прикасался к кистям и краскам, но пару этюдов все же набросал. Один был проработан детально, выглядел вполне законченным: береговая полоса, камыши, наполовину вытщенная из воды лодка, из нее торчат удочки, а на траву брошен улов — те самые окуни, что поймали они с Мурашовым.

— Ух ты! — сказал про окуней Петька с восторгом в глазах. — Как живые... Сейчас хвостами шевельнут...

Он захотел посмотреть и старые рисунки. Поялся в затруднении, поспел носом, и все же высказал одолевашшее его желание:

— А можно мне какой-нибудь рисунок на память взять?

— Можно, — сказал художник. — Ты когда домой стадо погонишь?

— Да сегодня поздно. Все же в правление пойдут, доить некому.

— Вот как стадо гнать — забеги и возьмешь. Отнеси домой всю папку. А дома выберешь, что тебе по душе.

— А папку-то всю зачем? — удивился Петька.

— Пусть она у тебя в избе будет. Тут сыро, бумага портится.

В оставшееся до вечера время художник лежал на траве возле палатки, подставив небу и солнцу лицо; солнце грело жарко, но чувствовалось, это последние его силы, последнее тепло. Скоро начнется пора, когда о солнце люди говорят: «Светит — да не греет...»

Потом он жег на костре сучья, хворост, что были припасены. В палатке среди его провианта еще оставались пшено и перловка, со стакан гороха, было и чем приправить, скрасить варево, но он ничего не варил, не собирался обедать.

Сизые нити дыма поднимались от кострища отвесно вверх, и только на высоте, вспухая пышными султанами, начинали плыть в сторону, почти не меняя очертаний. Художник долго смотрел на сизую дымную пряжу от истевающих, с тихим, едва слышным звоном распадающихся на мелкие кусочки углей, на уплывающие клубы дыма, несущие в себе очертания каких-то фигур, точно все они только что были какими-то загадочными реальными существами, вели какое-то бытие, но вот оно пришло к концу, исчезает и уже никогда не повторится. И никакой памяти, никакого следа не останется от этих существ в земном мире с его животворным солнцем, зеленью лесов и трав, всегда таинственной, непонятной Лунной, ночными, еще более таинственными, звездами...

Жизнь — великая тайна, кто знает, может быть, вот так же улетают с Земли в простор Вселенной души людей, завершивших свой краткий земной срок, только никому этого не дано видеть...

В косых лучах опускающегося солнца художник стал торопливо собираться. Вынул из лодки удочки, прислонил их к палатке. Вытряхнул на траву из консервной банки неиспользованных червей, которые сейчас же стали зарываться в землю. Пусть живут, плодятся, радуются своему существованию. Счастливые, у них совсем другой мир, ни в чем не схожий с человеческим, есть чем быть довольными, есть чему радоваться...

Столкнув лодку с береговой полосы на воду, он шагнул в нее, сел на резиновую перемычку между бортами, и, лицом к озеру, действуя парой весел в уключинах, поплыл в его ширь, серебристую пустынную безбрежность.

Он плыл долго, а когда вместе с лодкой повернулся к оставленному берегу — увидел только рыжую каемку камышовых зарослей. Где-то за ними остались его палатка, рассмотреть ее было уже невозможно. Вдали, за луговойиной, тянулась возвышенная холмистая гряда. Солнце уже опустилось за нее, гряда выглядела плоской лиловой стеной, небо над нею пылало расплавленным золотом, а выше в нем разливалась нежная зеленца; в небесном куполе над головой густела синь, и в ней снежинками посверкивали уже проступившие, редкие звезды.

Художник опустил руку за борт. Вода показалась тугой, плотной, как ртуть, обожгла холодом.

Отсюда, на расстоянии километра до берега, да еще в одежде, не доплывет ни один пловец. А уж в такой, почти ледяной воде, и подавно... Через несколько минут она превратит кровь в сосудах в вязкий вазелин, парализует сердце.

Художник достал из кармана куртки складной нож, бывший ему много лет верным спутником и помощником. Этим ножом он подтачивал свои рисовальные карандаши, вырезал из тростника дудочки, а из орешника — узорные палочки, чистил пойманную рыбу, картошку на уху, на пшенную похлебку. Раскрыв его, он ударил лезвием в тугой борт лодки. Зашипел воздух, хлынул из резинового нутра.

Больше от художника ничего не требовалось, только сложить руки. Он посмотрел вверх. Звезды прибавлялись. Даже проступила, зажглась крохотная блеск в ярком золоте над черно-фиолетовой холмистой грядой.

Когда художник был маленьким, еще ребенком, отец показывал ему на небе

звезды и называл их имена. Все они были звучные, как музыка. Про одну из них отец сказал: это Альтаир. Ты родился под вечер. Из родильного дома прибежала мамина сестра и сказала об этом. А я мыл в саду дубовые бочки. В эту осень случился богатый урожай антоновки, и я хотел намочить побольше яблок. На всю зиму. И вот — известие: мальчик! А мы с мамой как раз мальчика и хотели! У меня и руки, и глаза сами собой к небу: господи, услышал наши молитвы! А в небе — Альтаир. Вроде еще не время ему — но он уже сверкал. Словно в твою честь, по случаю твоего рождения. Вон он, видишь, голубой, яркий. Звезда первой величины, таких в небе немного. Ты запомни эту звезду. Это твоя звезда...

Художник не знал, какая звезда зажглась в расплавленном золоте над черным силуэтом далеких холмов. Отец, сельский учитель, увлекался астрономией, смотрел по ночам в телескоп. Но сын не перенял его знаний. Может быть, в небе горел тот самый Альтаир, что когда-то приветствовал его появление...

Василий Белокрылов

Белокрылов Василий Алексеевич (1938–1996). Прозаик, публицист. Публикуется с середины 1960-х годов. Яркий представитель «деревенской» прозы. Член Союза писателей СССР с 1972 года.

У СЕБЯ ДОМА

В. Черниковой

— За огородами, внучек, сплошь, помню, кислица была, терники, а подальше чуть, где голызины теперь, дереза росла. А уж под кручью...

Бабка вздыхала, сожалеючи покачивала головой и на миг прикрывала глаза, видя давнее, изжитое, но в памяти такое же текуче-неизбывное, как вода в Дону...

Анатолию она вовсе не бабкой, а прабабкой была, но звал он ее бабой, бабушкой, бабулей, потому как при ее жизни и слова-то такого — прабабка — не знал, да и нянькалась она, возилась с ним дни напролет, не в пример иной истинной бабушке.

Будучи еще мальцом-несмышленишем, до легкого испуга удивлялся он, если слышал, как старушки, завидя их с бабкой на скамеечке у ворот, звали: «Митревна! Да иди ты с нами хоть часок посиди!»

Он встревоженно замирал и заглядывал ей в лицо, не понимая, как это его бабушку, бабулю зачем-то Митревной назвали.

К старушкам, чтобы не обидеть их, они шли, но долго с ними не засиживались.

— Ой! — посидев, спохватывалась бабка. — Пойду-ка я, девки, чеборка сорву, — говорила она старухам. — После дождичка в самую пору он вошел, да и цикорек теперь силу набрал...

Редко когда бабка ходила с ним по улице. Чаще вела по стежке через огород на выгон, по выгону — к круче, где и усаживалась в ложбинке над самым урезом обрыва. Внизу в тихую погоду покоился Дон.

Вот тут-то и начиналось!

— Под кручью, внучек, — умиляясь дорогим ее сердцу воспоминаниям, рассказывала бабка, — под кручью и липняк, и ольховники росли, и тополевых пород дерево — белый да черный тополя. Черный у нас осокорем зовут. На белом не кора, а прямо кожа девичья — такая она тонкая и нежная. А у осокоря, у этого

кора толстая, шершавая, с накрапами черными и, как бородавки, наросты у него по коре...

Вряд ли смог бы он отличить тогда белый тополь от черного, да и неважно это для него было. Успокоительный бабкин голос, казалось, втекал в него, и вместе с ним проникало во все его существо что-то такое, что было куда значительнее распознавания белого и черного тополей. То было сладостное и чуть жутковатое ощущение беспредельности того, что начинали видеть его глаза, что, волнуя, уже брезжило в нем смутным желанием определить свое место в бесконечности жизни.

— Не голыми, внучек, были кручи, а лес держался на них, — неспешно вела рассказ бабка. — Под селом еще туда-сюда... Кто на колья, кто на жердины лесинку срубил, чтобы за Дон не плыть, но обредили, обнизили лесок. А ниже села меня, помню, прямо жуть брала, когда груши ходили трясти, — такой, внучек, лес стоял. Глянешь вверх, с берега-то, и оторопью тебя так и окинет. Вот-вот, ждешь, зеленой тяжестью тебя накроет. Кручи-то — крутизна ведь страшная, и вот мнится, что заваливается лес, падает и уже в воздухе завис. Небушко высоко-высоко, а шпильки меловые в зелени этой, как мятные пряники, белеют...

Бабка задерживала вздох, не глядя на него, находила рукой его голову и прикрывала макушку ладонью.

— Груши, внучек, всем миром ходили трясти. Бог знает, сколько их меж ярами по дубняку да вязам росло! Не считал их никто. Яры-то эти и потеперь Грушевыми называют, а леса и в помине давно нет... — Бабка вздыхала о чем-то своем, продолжала: — Так вот, никто их, внучек, эти грушины не считал, и охраны никакой над ними не было. А ближе к Покрову, как только лист на дереве маломало поредел, опал, обсказывают по дворам: «Бабы, девки! Назавтра иди груши бить...» И вот на другой день мужики, само собой, подворно на подводах верхом едут, а бабы с девками — такая уж тогда доля женская была — эти своим ходом, бережком. На место пришли, а там уже на каждую улицу, честь по чести, своя доля отведена...

Это было для него совсем уж чудом — грушевые деревья на мелу! Сады в селе тогда только-только начинали разводить. Сразу после войны их повырубали, и хотя годы после войны прошли, но все равно не до садов было. Больше под картошкой огороды занимали.

А груши он любил, но в селе они редко у кого водились. Груши под осень — вот-вот в школу идти — привозили из степных хуторов. Покупали их за деньги, брали в обмен на рыбу. Отец хоть и безногий был, но рыбу ловил, и засаливали ее на зиму много. И вот доставала бабка из погреба широченных чебаков, заворачивала их в холстину и шла к тетке Акульке, у которой обычно останавливались смуглые хохлушки из степных хуторов. Домой бабка приносила ведро-два груш...

— А за Грушевые яры, внучек, почти никто и не ходил. Боялись, — с напряжением в голосе продолжала бабка. — Там, говорили, еще в татарские времена долбленая лодка с золотом была закопана, а когда я маленькой была, там Акимка Бердан себе пещеру вырыл...

В этом месте бабкиного рассказа на Анатолии словно кто рубашонку до самых плеч на спине заголял — таким холодком прохватывало. «Могилу вырыл...» — слышалось ему почему-то в последних словах.

— В пещере этой Акимка Бердан и скрывался. Наш он, местный был. А Берданом за то прозвали, что с берданкой — ружьецо такое было — по ночам шкодил. Разбойный был человек. Бычков, какие от стада отбились, Акимка прирезал, запоздалых угольщиков по дороге из города, случалось, перехватывал, богатеньких поборами донимал. Не дюже чтоб, но что ему надо, то брал. Чаще через пастухов наказания свои передавал. Вылезет, пастухи-то говорили, из яра и пальчиком к себе зовет: иди-ка, мол, сюда. И наказывает: скажите, мол, Гришке Нечаеву, чтоб

его баба или из малышей кто вылезла к вечеру шмат сала с хлебом, меду и рубаху со штанами под камень на Лысом мысу положили. Не то, грозит, я Гришке поздри набок заверну! Скажет вот так, и никуда не денешься, кто-нибудь из Нечаевых гостинец Бердану на Лысый мыс и несет. Да тайком, чтоб не увидел кто, иначе Гришку же потатчиком Бердана объявят, а Гришка крупорушке и мельнице хозяин, негоже ему к Бердану касательство иметь. Так вот Бердан и озоровал. Пытались его словить, но так и не словили. Где его пещера — никто не знал, а сам он, по слухам, от пули да опасных людей заговорен был...

Бабка умолкает, задумывается и, словно преодолев в себе что-то вздохом, как тайну, доверяет:

— А дед мой, не тем будь помянут, царство ему небесное, тот по молодости тоже с нехорошими делами по ночам на степные хутора ходил. К деду, вышло, Акимка Бердан и навевывался. Проснулась я как-то ночью и слышу: гу-гу-гу, гу-гу... Гляжу, с дедом какой-то мужик за столом сидит. Четвертинка водки меж ними. Мужик деду и говорит: «Скушно, дядь. Особливо днем. Ночью-то я вольно хожу...» Мать моя тоже, чую, не спит, слушает. Потом мужик стал у деда пороха просить. Дед отказал. И посоветовал: «Бросай ты, Аким, баловство! Подавайся туда, где тебя не знают, и живи, пока срок наказанья пройдет...» Тут и поняла я, кто у нас был. Узнала, и страшно сделалось. Перед глазами Акимка Бердан так всю ночь и стоял. Лицо узкое, жесткое и сам сухой, верткий, как из прутьев свит...

Позже Анатолий узнал, что Акимка, будучи в солдатах, за какую-то провинность был осужден, но бежал; узнал, что никакой пещеры он себе не рыл. Пещеры были задолго до него. Появились они в меловых кручах больше чем за полтора-раста лет до Бердана, и копали их беглые монахи Задонского монастыря. Но тогда, слушая бабу, он испуганно жался к ее ногам, а ночью не спал, видя эту пещеру, похожую на глубокую вымоину в круче напротив их пристани. В этой вымоине после полой воды мужики варили в ведрах смолу и смолили лодки, но именно такой представлялась ему пещера Бердана. А сам Бердан сидел, опустив к коленям голову, глядел с высоты кручи на Дон и без конца тянул: «Скушно...»

— Бердана-таки не то словили, не то он по совету деда куда-то исчез, а потом и лес пропал, — с горечью продолжала рассказывать бабука. — Году этак в третьем или четвертом, перед тем как бунты против богатых начались, зачастил в наше село какой-то Козлов, из купцов, из круш. Я уже балыхнаю, годков шести была, когда этот Козлов на бричке по улицам раскатывал. К слову сказать, не он козлом, а мужики наши козлами оказались. Как уж там было, не знаю, но стал он к лесу, что по кручам, приценяться, а лес-то не казенный был, а миру принадлежал. И сторговался, сукин кот! Выборных миром мужиков водкой напоил, выгод всяких наобещал, те и стали другим торочить: на кой, мол, черт нам этот лес, только берега, дескать, застит. А на деньги, что Козлов за лес давал, порешили Дон в узких местах гатями гатить, чтоб, значит, потек он по-над селом, где в те времена от Дона рукав метров в пятнадцать шириной тянулся. По протоке этой байдаки, водяные мельницы, стояли. Плотины лет семь, если не больше, строили, ну а лес козловские наемщики в тот же год стали кромсать. К ним, козловским, и наши подпряглись. Заработным делом оказалось — лес искоренять. Валили его подряд и на уголья жгли. В городах, стало быть, нужен был уголь, и куда только тот уголь не везли! Но больше в безлесные места, на юг, по степям, путь держали. Так лес на кручах и пропал, извели...

Восьмидесяти семи лет умерла прабабка. Но рассказы ее не забылись.

Анатолий грезил лесами по придонским кручам.

Взрослея, прикидывал, бывая на рыбалке, где бы он деревья рассадил, чтобы меловые шпиль-голяки прикрылись зеленью. Занялся даже чепуховым делом,

как сказал ему сосед Николай — человек молчаливый, жадный до работы и до всего того, что можно было завезти и занести во двор.

Как-то пришла Анатолию мысль рассадить барбарис по кромке кручи, куда он по вечерам ходил полюбоваться Доном. Барбарис (в селе его называли кислицой, кислицей) в обилии рос ниже села, по скатам спилей и оврагов. Туда он и отправился с лопатой после занятий в школе.

Выкопать барбарис оказалось делом нелегким: метров на пятнадцать распознались во все стороны корни кислицы! Стараясь их не разрубить, не повредить, часа три промаялся с маленьким кустиком. На второй не хватило духу, но, чтобы не идти назад с одним лишь саженцем, решил выкопать березку, думая, что с нею управится легко. Но и с березкой пошел. Как и у кислицы, корни березы были неглубоко, вширь же захватывали порядочное расстояние да еще переплетались с корнями других берез. Тут впервые узнал он секрет того, как приспособляются деревья на мелу расти. Они не пускают корни вглубь, а разбрасывают их вширь под пластом дернины, питаются соками земли за счет длины корней...

Вот тут-то, когда он притаптывал землю вокруг посаженной березки, позади услышал кашель. Николай подошел, покривил в усмешке рот, хмыкнул и сказал:

— Чепуховым ты делом занимаешься, парень!

— Это почему? — обиженно спросил он.

— А потому, что на лысой голове два волоска — смех, а не волосы...

Через два дня барбарис повалили овцы, оставив на его колючках шерсть; вокруг же березки земля была овцами густо примочена, усеяна катышками. А через день березка совсем исчезла: ее кто-то выдернул...

К концу десятого класса Анатолий о лесе уже кое-что знал. Попалась ему как-то в школьной библиотеке книга Огнева «Жизнь леса» с фотографиями и рисунками зверей и птиц. Боясь обнаружить радость, Анатолий попросил библиотекарку записать книжку на него и держал ее дома добрых полмесяца. Нашлась потом в библиотеке и другая книга — «Как растут новые леса» Семенов-Тянь-Шанской. С особым интересом читал он о байрачных лесах, которые, он был уверен, держались бы еще и в их местах, не будь они срублены предприимчивым купцом Козловым.

Рассказы бабки о лесе на меловых придонских кручах не давали ему покоя и все три года учебы в лесном техникуме. Он лишь о том и думал, как бы ему попасть на работу в свой лесхоз. И что только ему не вспомнилось! Многое из того, что он делал, было скорее чудачеством, но именно эти свои чудачества он и вспоминал.

В одну из весен, в большую полую воду, в лесные озера непонятно откуда попал белый карась. Узнали о нем уже под осень, когда карась вымахал почти в полукилограммовых ломтей-рыбин. Брался он на червя, на хлеб, на мушек — чего бы ни наживили на крючок.

Анатолий не ходил на большие озера, а облюбовал одну из ямок, как называли сельчане небольшие, но глубокие, плотно затененные деревьями и подлеском озерца. Карась оказался и в ямках, хотя и было его меньше, и цветом чешуи выглядел он чуть потемней.

Дорога к озерцу была узка, давно заброшена. Перетянутая нитями паутины, она так затравенела, что только шорохом нападавших листьев отзывалась на шаги.

Он шел не спеша, изредка срывал ежевичины по обочинам и никак не мог свыкнуться с тишиной, каким-то сладостно-тревожным покоем и испытывал желание стать неприметным, раствориться в тиши, слиться с запахом листвы, с неподвижностью деревьев, в молчаливости которых улавливалось что-то человечески живое...

Услышав впереди женские голоса (он знал: шли с вырубок, где собирали ежевику), Анатолий, чувствуя ненужность встречи с людьми, свернул с дороги и, отыскав чистую круговину, оставшуюся после когда-то спиленного дуба, уселся у пня. Было так тихо и хорошо, что он решил подольше посидеть. Разложив на пне сверток с яйцами, помидорами и сливами, стал есть. Первая же сливовая косточка, когда он к сливам приступил, дала толчок какой-то пока неясной мысли, и он не отбросил косточку, а вглядываясь в нее, подержал, поподбрасывал на ладони и неожиданно понял, что и сливовые косточки он обязательно должен здесь рассадить и место это запомнить. Охваченный волнением при мысли, как придет сюда, когда сбудет вешняя вода, он уже видел пробившиеся сквозь землю и прель листьев зеленые прожелтые побеги будущих сливовых кустов. Покончив с последней лункой, он долго сидел, взволнованно притихший...

Сливы, конечно же, не взошли...

И вот теперь он, молодой специалист, лесовод, снова дома. За три дня до начала работы в лесхозе обошел все памятные места, яруги исколесил, по шпилям поднимался, межовражные ложбины исходил, прикидывая, какая где порода может прижиться. Много раз сам удивлялся, что на той самой круче, где когда-то Акимка Бердан скрывался, отыскал он среди орешника и берез робко прижавшиеся к сползшим сверху меловым валунам три маленькие сосенки. Сначала подумал, что занесла сюда какая-нибудь птица основную шишку и расклевала здесь, выронив несколько семечек, но, увидев, что иглы на сосенках почти круглой формы и чуть тронуты синью, обомлел. Он понял, что перед ним реликт — меловая сосна, которая на всем протяжении Среднего Дона давно исчезла и сохранилась лишь в одном месте, где-то под Нижним Карабутом, как говорили им в техникуме. Надо, конечно, проверить, уточнить, а пока...

И совсем непрошено проплыло в памяти одно за другим: бабка, ее неспешный рассказ, пахнущий чебрецом выгон, где когда-то росла дреза, и меловые кручи, местами словно бы простроченные травяной зеленью.

...Долго в этот вечер стоял Анатолий на круче, смотрел на подернутые вечерней дымкой пойменные леса, на крутые скаты правобережья, изрубцованные множеством теклин, и не пытался унять щемливую тревогу, охватившую его от сознания того, что не гостем, не охотником, не рыбаком и не любителем природы пожаловал он в родные места...

Иван Евсеенко

Евсеенко Иван Иванович (1943–2014). Прозаик, публицист. Главный редактор журнала «Подъём» (1997–2006). Член Союза писателей СССР с 1976 года.

БЕЗУТЕШНЫЙ ГЕНИЙ

На перекрестке трех дорог недалеко от города Курска в деревне Новожиловке объявился гений. В какой области человеческих деяний он был гением, никто точно не знал, но все чувствовали, и, главное, чувствовал он сам, — что гений, человек незаурядный и отмеченный Богом. Звали его, как и водится в России, Ваней.

Где бы ни появлялся Ваня, всюду оставалась печать его гениальности и величия. Если он приходил в контору колхоза к председателю правления Василию Ивановичу Дерюгину, то останавливался еще у порога и тыкал в него пальцем:

— Вот сколько раз ты бывал в Москве?

Василий Иванович, человек твердый, решительный, под его указующим перстом терялся и, словно школьник, отвечал:

— Трижды.

— А я, — ликовал Ваня, — считай, из Москвы не вылезаяю.

Василий Иванович конфузился окончательно, отводил взгляд в сторону, чувствуя себя обреченным и никому не нужным, хотя точно знал, что Ваня дальше районного центра никуда уже лет пять не выезжал.

Закончив разговор с председателем, Ваня переходил через коридор в бухгалтерию и точно так же тыкал пальцем в главного бухгалтера, мужчину пожилого, стареющего:

— Ты сколько раз прыгал с парашютом?

— Нисколько, — чистосердечно признавался главный бухгалтер. И тоже конфузился, и по старой привычке начинал щелкать костяшками на счетах, забывая, что рядышком стоит новенький заграничный компьютер.

— А я восемнадцать раз! — добивал его Ваня и хлопал дверью.

Где и когда Ваня мог прыгать с парашютом, для всех оставалось тайной. В армии он не служил. Во-первых, потому, что был одним-единственным сыном у большой и довольно уже престарелой матери, а во-вторых, потому, что, по слухам, самым точным и достоверным, таких способных и гениальных людей в армию не берут. Говорят, у военных есть на этот счет какой-то тайный, секретный приказ, запрещающий брать гениев в армию. Они там могут повредиться умом и навсегда утратить свою гениальность. А государство допустить такого расточительства не может...

И тем не менее, все верили, что Ваня с парашютом прыгал и даже, может быть, не восемнадцать, а значительно больше раз, но из врожденной скромности это утаивает.

Если же собиралось общее собрание колхоза, Ваня опять был тут как тут. Дождавшись, пока Василий Иванович закончит доклад, он первым поднимался на трибуну и, выбросив далеко вперед твердую, непреклонную руку, озадачивал колхозников:

— Сергей Александрович Есенин! «Анна Снегина»! — и начинал декламировать:

Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.

Те, кто помоложе и пообразованней из дождавшихся кино, пробовали остановить его, кричали с мест:

— Кончай, Ваня!

Но те, кто постарше и посдержанней, обрывали молодежь:

— Дайте послушать!

Ваня переживал минуты три-четыре, пока народ успокоится, а потом продолжал дальше без роздыху и перерыва целых полтора часа до самой последней печально-возвышенной строчки, которая в его устах, между прочим, почему-то звучала с укором:

Далекie милые были!..
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но, значит, Любили и нас.

После такого чтения Василий Иванович нередко добровольно отказывался от заключительного слова. О кино же и вообще не могло быть речи. Это понимали даже молодые и образованные. Народ расходился по домам грустный и обеспокоенный, не зная, чему больше удивиться — то ли необыкновенной этой истории, ко-

горая в старые годы вполне даже могла произойти и в их селе Новожиловке, то ли цепкой, гениальной Ваниной памяти...

За свою короткую двадцатитрехлетнюю жизнь Ваня работал в самых разных местах. Нанимался учителем пения в новожиловской восьмилетней школе, но вынужден был оттуда уйти, потому что директор не понял его, когда Ваня начал разучивать с первоклассниками знаменитую песню:

На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.

Потом он работал в районном центре инструктором по стрельбе в местном отделении ДОСААФ. Но опять оставил выгодную эту и престижную службу, поскольку, говорят, на спор с бывшим завотделом райкома партии, своим односельчанином Алексеем Степановичем Воскобойниковым, с расстояния в пятьдесят метров стрелял и промазал в значок «50 лет в КПСС».

После этого Ваня года два вообще нигде не работал, а разводил дома какую-то особую породу уток, кормил их отборным пророщенным зерном. И опять не очень удачно, потому что по весне утки вдруг поднялись на крыло и исчезли в неизвестном направлении.

Ваня немного погоревал, искал уток в соседских дворах и на дальних городских дачах, а потом плюнул на все и ушел работать в колхозную пожарку. Неожиданно для новожиловцев именно здесь он наконец-то обрел свое настоящее призвание. С его приходом в пожарную часть дело с пожарами в Новожиловке заметно наладилось.

Вначале сгорел двухэтажный коттедж председателя колхоза Василия Ивановича Дерюгина, потом родовой дом со всеми надворными постройками главного бухгалтера, потом дача Алексея Степановича Воскобойникова, хотя и стояла она поодаль от села на берегу реки. После этих знаменитых пожаров стали гореть усадьбы и подворья поменьше, поскромнее: завхоза, кладовщика, директора школы, который когда-то не понял Ваню. На пожары у Вани было просто какое-то чутье. Иной раз он приезжал на место возгорания со всей своей надежной дружиной даже минут за десять-пятнадцать до начала стихийного бедствия.

Перепуганный хозяин, глядя, как пожарный расчет разворачивает рукава и шланги, выбегал со двора и пробовал остановить несчастье:

— Так вроде бы не горит, Ваня?!

— Ничего, — успокаивал его тот. — Должно бы загореться.

И, действительно, не успевал хозяин сбегать в дом за бутылкой водки и какой-никакой закуской, чтоб откупиться от дорогих и столь предупредительных гостей, как его подворье загоралось со всех четырех сторон. В сердцах хозяин сам хватался за брандспойт, но Ваня останавливал его:

— Не спеши, дай разгореться, а то здесь и тушить нечего. — Когда же пожар наконец разгорался во всю свою силу и мощь, грозясь перекинуться на другие подворья, Ваня нехотя поднимался с бугорка, откуда любил наблюдать непревзойденное это зрелище и подавал команду расчету:

— Ну, теперь можно и попробовать!

Пожарники дело свое начали отменно, не щадили ни себя, ни машину, включали брандспойты на всю мощность и в считанные минуты разносили в щепки остатки стен и заборов, которые по какому-то недоразумению пожар пощадил...

На тяжелой этой пожарной должности авторитет и гениальность Вани еще больше выросли и укрепились. Даже те из горделивых и высокомерных односельчан,

которые в прежние годы относились к Ване с некоторым предубеждением, теперь смирили свою гордыню и при встрече с Ваней на всякий случай снимали шапку:

— Здравствуйте, Иван Данилович! В гости не собираетесь?

— Да нет пока, — прикидывал что-то в уме Ваня и шел себе дальше, оставив счастливого односельчанина стоять посреди дороги с обнаженной головой...

* * *

...И вдруг Ваня стал задумываться. Выйдет рано поутру из дому и вместо того, чтоб немедленно отправиться в пожарку, сядет на крылечко, опустит низко голову и в молчании и одиночестве сидит так вот и час, и другой, и третий...

— Думаешь все? — осторожно затронет его кто-либо из прохожих.

— Думаю, — ответит Ваня, вздохнет и опять обронит на грудь свою многострадальную голову. — Надо же кому-то и думать...

Мать его стала не на шутку тревожиться, переживать. Несколько раз подступала к нему с заветным своим разговором:

— Может быть, тебе бы жениться, Ваня? — Но он неизменно отвечал на это:

— Пока еще рано, — и опять задумывался, да так крепко, что иной раз даже не мог подняться с крылечка, и его приходилось уводить в дом силой.

Слух о том, что Ваня стал задумываться, быстро побежал по всему селу и даже по всему району. Народ притих и стал ожидать чего-то непредвиденного, потому что когда задумываются такие люди, как Ваня, обязательно случается что-либо непредвиденное, а может быть, даже и страшное...

Но, к счастью, ничего особо уж непредвиденного не случилось. Ваня посидел на крылечке еще несколько дней, несколько недель, все такой же молчаливый и неприкаянный, а потом вдруг взял и исчез из села...

* * *

...Не было его ровно три года. Изболевшаяся душою мать подавала на розыск, ходила к разным гадалкам и ворожеям, обращалась даже за помощью к Василию Ивановичу Дерюгину и Алексею Степановичу Воскобойникову. Но все было напрасно. Ваня словно в воду канул, не подавал о себе никакой весточки и никакого знака. Кое-кто из новожиловцев втайне, наверно, даже подумал, что Ванины косточки давным-давно уже сгнили где-либо в дальних местах и странах...

Но все-таки Ваня вернулся. Ранней весной, когда только начали пахать огороды, он неожиданно появился возле родительского дома в линялом, выгоревшем донельзя на солнце полувоенном обмундировании, с таким же линялым полуармейским рюкзаком за плечами. Правая рука у Вани была на перевязи.

Мать, завидев его, выскочила из дома в одной кофточке, заплакала, обняла его, по-матерински горестно дивясь, что голова у Вани наполовину седая. Он обнял ее тоже нежно и сильно, прикрыл от ветра и сказал так, как в былые годы никогда не говорил:

— Простудитесь, мама.

Их тут же окружили соседи и подошедшие на шум даже из дальних домов односельчане. Глядя на Ванину израненную руку и военную форму, кто-то не выдержал и спросил:

— Ты что же на войне был, Ваня?

— На войне, — тихо и печально ответил тот.

Все ожидали, что сейчас он по прежней своей привычке начнет рассказывать да, может, немного и привирать о войне, на которую, Бог знает, как его занесло, о своих там геройствах и подвигах. Но Ваня ничего рассказывать не стал, а лишь

умылся из материнных рук, побыл немного в доме и снова вышел на свое излюбленное место, на крылечко, сел на самую нижнюю ступеньку и задумался.

Никто из прохожих и проезжих теперь не останавливался возле него, не затрагивал, не интересовался, думает ли Ваня о чем или сидит просто так, греется на майском утреннем солнышке. Все обходили его стороной, оставляя Ваню в одиночестве и молчании, кто из опаски и предубеждения: как-никак человек был на войне и поди догадайся, что хранится у него в вещмешке или за широким солдатским ремнем, — а кто из деликатности и сомнения, помня еще, что Ваня все ж таки житель необыкновенный, гениальный и лучше его по мелочам не беспокоить...

Когда рука у Вани немного зажила, он изредка вроде бы начал отвлекаться от своих дум, брался за топор и пилу и принимался ремонтировать то совсем повалившиеся заборы, то сараюшки и повети, то крышу родительского покосившегося дома. Но и здесь у него сплошь и рядом получалась заминка. Вдруг Ваня останавливался на замахе топор или молоток, откладывал в сторону пилу и гвозди и опять крепко задумывался, сидя где-нибудь в тенечке за забором или на крыше дома.

Несколько раз к нему незаметно подходила соседская шестнадцатилетняя девочка Настенька в беленьком специально для этой встречи выглаженном платьице, смотрела на него снизу вверх и спрашивала:

— Может, слезешь?

— Зачем? — удивлялся Ваня и смотрел вовсе не на Настеньку, не на ее платьице, а куда-то поверх деревенских крыш в поля и небо...

Настенька совсем не по-детски вздыхала, печалилась, стояла еще несколько минут возле Ваниного дома, а потом круто поворачивалась и через сад бежала к себе во двор, чтоб больше до самого вечера нигде уже не показываться...

Так промелькнули весна и лето. А осенью с первыми дождями и непогодой Ваня исчез из села во второй раз...

* * *

...И опять его не было три, а может, даже и четыре года. Теперь его мать на розыск не подавала, не ходила ни к гадалкам, ни к ворожеям, ни даже к Василию Ивановичу Дерюгину, за эти годы заметно раздобревшему и построившему себе новый трехэтажный коттедж, рядом с новой же дачей Алексея Степановича Воскобойникова на берегу реки. Не ходила и к самому Алексею Степановичу, который нынче живет в областном городе и служит там каким-то новым большим начальником. Скрепив сердце, она стала терпеть и ждать неприкаянного своего Ваню домой.

И он действительно вернулся. Но на этот раз не в военном обмундировании, а в какой-то серенькой фуфаячке с не споротыми еще тайными отметинами и в грубых рабочих ботинках. Мать опять выбежала к нему простоволосая, заплакала, запричитала, крепко прижала к своей груди его совсем уже седую голову. А он, опять прикрывая ее от ветра и холода, сказал так, как никогда не говорил в детстве и юношеские свои годы:

— Не плачьте, мама. Не надо...

Односельчане, как и в прошлый раз окружившие его плотным кольцом, настоятельно поинтересовались:

— Ты, что же, в тюрьме сидел, Ваня?

— В тюрьме, — печально улыбнулся тот.

— Убил кого или как? — не унимались односельчане.

— Нет, не убил.

— Так за что же тогда сидел?

— А за что можно сидеть в России, — поднял на них вопрошающие глаза Ваня и сам же ответил: — За правду.

Больше он ничего не сказал, обнял мать и ушел с ней в свой опять крепко порушившийся дом.

Несколько дней Ваня нигде не показывался, отходил душой и телом от долгих лет заточения, а потом, передевшись в свое домашнее одеяние, стал наводить на подворье кое-какой порядок: ремонтировать сараи, заборы и изгороди. Когда же он взобрался на крышу, чтоб поменять там подгнивший конек, к нему, как и в прошлое возвращение, подошла Настенька. За четыре года, пока Ваня сидел в тюрьме, она превратилась из хрупкой длинноногой девчонки в красивую, но почему-то очень печальную женщину. Одета Настенька теперь была не в белое почти воздушное платьице, а в обыкновенную рабочую юбку и кофточку, отчего казалась гораздо старше своих двадцати лет.

Ваня не стал дожидаться, пока она его окликнет, а сам спустился с крыши и сел рядом с Настенькой на лавочку. Она нежно взяла его за руку, несколько мгновений подержала худую, изможденную Ванину ладонь в своих очень горячих легонько вздрагивающих ладошках, а потом вдруг сказала просто и обыкновенно, как могла сказать только она:

— Так, может, женишься на мне?

— Женюсь, — неожиданно легко отвлекся от своих дум и дал согласие Ваня.

Через неделю они отнесли в сельсовет заявление, а еще через неделю сыграли свадьбу. Настенька опять достала свое белое платье, надела на голову высокий украшенный бусинками и разноцветными блестками кокошник и сидела рядом с Ваней очень счастливая. Он тоже был счастлив, обнимал Настеньку за плечо, пробовал петь песни и даже плясать на радость гостям и матери. Но потом он вдруг снова задумался, оглядел все застолье каким-то тревожным, непонимающим взглядом, посмотрел с сочувствием на мать и Настеньку и отпросился у них в сад покурить. Там он действительно закурил, постоял минуты две-три возле старой засыхающей груши и неожиданно для самого себя в третий раз исчез из села...

* * *

...Снова побежали год за годом, а от Вани не было ни единой весточки, ни единого письма. Мать терпела, выглядывала его за селом на перекрестке дорог, а Настеньке, когда та встречалась ей, неизменно говорила:

— Не жди его, он не вернется...

— Но вы же ждете? — укоряла ее Настенька.

— Так я — мать...

— А я — жена, — отвечала ей Настенька. — Я дана ему от Бога.

И Ваня, словно подслушав их разговоры, вернулся и на этот раз. Пришел он под вечер в каком-то совсем обветшалом, наспех во многих местах залатанном одеянии, босой и, чувствовалось, опасно болен. В руках Ваня держал сучковатую березовую палку, заменявшую ему посох, а через плечо у него висела холщовая, тоже залатанная сумка...

Мать по своей старости и немощи выбежать к нему навстречу уже не смогла, а лишь с трудом выбралась на крыльечко. Ваня сам подошел к ней, осторожно, словно боясь причинить боль и неудобство, обнял, прижался к ее плечу горячим, воспаленным лбом и вдруг сказал так, как не говорил никогда прежде:

— Я вам принес гостинец, мама.

Он открыл холщовую свою полупустую сумку, достал оттуда ломоть ржаного земляного хлеба и передал матери.

— Спасибо, Ваня, — сказала мать, приняла подарок, отломилла, попробовала

от него совсем маленький кусочек и улыбнулась Ване чистой материнской улыбкой: — Подают еще люди?

— Подают иногда, — так же светло и радостно улыбнулся ей в ответ Ваня. — Бог пока милостив...

Он еще теснее прижался к материнскому плечу и затих, отдыхая после дальнего тяжелого перехода. Мать гладила его худые, опавшие плечи, целовала в лоб, дивясь, какая у Вани светлая, прозрачная кожа, сквозь которую проступает череп, показавшийся ей почему-то холодным и неживым. Потом мать, словно спохватившись, отстранила Ваню от себя и сказала:

— Ты бы сходил к Настеньке. Она тоже ждет...

— Сейчас схожу, — ответил Ваня, поднял с земли оброненный посох и пошел через сад к Настенькиному дому.

Шел он медленно и тяжело, с трудом переставляя в пыли босые искоженные ноги. Но все-таки дошел и взялся уже было за щеколду, видя, что Настенька бежит к нему через все подворье в белоснежном утреннем платье, и вдруг покачнулся, неловко задел плечом за калитку и упал бездыханным на весеннюю, только начавшую отходить от зимних холодов землю...

...Так закончилась его земная жизнь...

Похоронили Ваню на краю деревенского кладбища на перекрестке трех дорог. В пасхальные дни к нему на могилу приходят многие односельчане — и знавшие его, и уже не знавшие — поднимают на помин его души по рюмке водки, молчат, и в этом горестном молчании все понимают, как тяжело им, как невыносимо одиноко без Вани, без гения...

Тяжело и им в деревне Новожиловке на перекрестке трех дорог, тяжело и во всей России, тяжело и во всем бесконечном мире...

Валентин Семенов

Семенов Валентин Васильевич (1934–1995). Прозаик, публицист, литературный критик. Многие годы возглавлял отдел критики журнала «Подъём». Начал печататься с 1963 года. Член Союза писателей СССР с 1982 года.

ГАЛКА

Через год после Победы мы вернулись в родной мамин город. Я устал от длинной и мучительной дороги, и, сонного, внес меня отец в наш новый дом, в нашу новую квартиру. Я спал весь вечер и всю ночь, хорошо выспался, а когда проснулся, отец уже был на новом заводе, и слышно было, как гудят самолеты на аэродроме, а на кухне возится мать и пахнет оттуда чем-то вкусным. Все было привычно, и я даже не сразу сообразил, что мы уже живем в новом городе.

А сообразив, вскочил с постели, быстро позавтракал, надел свои теплые бурки, старый отцовский летный шлем и шубу, сшитую из летной американской меховой куртки. Мне было сытно, тепло, радостно от предстоящей встречи с новым и неизвестным.

На улице по обледенелым камням мостовой мела поземка. Трамвайные рельсы холодно блестели под солнцем.

Напротив стоял дом, похожий на наш, а больше домов на улице не было. Не было и улицы, а только стояли два дома — один против другого. А слева и справа возвышались обожженные, с отбитыми углами, полые кирпичные коробки с пустыми окнами. А дальше, во все стороны, сверкало под солнцем голое засне-

женное поле, и на краю его стояли такие же скелеты домов, освещенные солнцем.

И было пусто на улице, морозно и тихо, лишь гудел вдали завод. А когда я пошел потихоньку вдоль каменных коробок, то отчетливо услышал, как свистит и подывает внутри них ветер и скрежещет где-то оторванный лист железа. Такого я еще никогда не видел. Я знал, что все это — война, но ее угрюмые следы на земле я видел впервые. Мне стало тоскливо, одиноко, я повернул обратно домой.

И тут он появился передо мной, как бы возникнув из этой гнетущей морозной пустоты. Мальчишка был моего роста, коренастый, из-под вытертой шапчонки торчали льняные мягкие волосы. Длинная лоснящаяся телогрейка свисала до заплат на коленях. Обут он был в большие солдатские ботинки. Руки прятал в рукавах телогрейки. Пританцовывая, шмыгая покрасневшим на морозе носом, он с любопытством разглядывал меня.

Это мне не понравилось.

— Ну, чего уставился?

Он смутился, потоптался, подтянул штаны.

— Да я так, ничего... А ты новенький, да?..

— Вчера вечером приехали. С Дальнего Востока. А из Москвы на самолете летели.

— На самолете?! Здорово!... А у тебя отец летчик, верно? Мне мать говорила, что новый летчик на завод определился...

Он посмотрел на мою шубу, сказал:

— А я по твоей шубейке догадался... У нас летчики тоже в таких ходят. Теплая, поди?..

— Как в печке! Хотя сейчас на Северный полюс... А тебе ведь холодно в этой... Взяла бы мать и сшила тебе такую же шубу...

Он настороженно взглянул мне прямо в глаза: не смеюсь ли я над ним? Потом тихо сказал:

— Эх ты, а еще большой. На что ей шить-то? Уборщица она. А нас двое, ртвото. Я и сестренка. Та все болеет. В самый сорок первый родилась. А отца немцы порешили тоже в сорок первом. Мне тогда семь лет было. А тебе сколько лет?

— Двенадцать.

— И мне тоже.

— В пятом?

— Ага...

— Значит, вместе учиться будем. Школа далеко?

— Да нет. Там она, за аптекой, на пустыре...

Мы постояли еще, приглядываясь друг к другу и чувствуя, как все проще и легче нам разговаривать, как доверие приходит на смену настороженности.

— Меня звать Серегой.

— Меня — Галка.

— Галка?!

— То есть не Галка, звать меня Петькой. Да вот ребята Галкой прозвали. Галка да Галка. Все из-за фуфайки.

Он взмахнул длинными рукавами своей телогрейки и каркнул неожиданно звонко и так стал похож на черную птицу, что я рассмеялся.

— Точно, галка!

Он тоже засмеялся, довольный своей шуткой и тем, какое впечатление она произвела на меня.

— Пойдем на каток, там ребята сейчас играют.

— Подожди, я сбегаю за коньками.

Я влетел домой, быстро собрал коньки и клюшку, побежал было на улицу, по-

том вернулся, схватил со стола только что испеченные матерью, еще горячие пирожки с мясом, выскочил на улицу, сунул пирожки Галке, и мы побежали на ка-ток...

Так началась моя жизнь в новом городе, разбитом войной, среди его развалин и пепелищ. Так началась наша дружба с Галкой.

Галка охотно подчинился мне, наверное, потому, что я был на виду у всех ребят нашего района; я лучше многих играл в футбол и хоккей и не робел в драках с придачинскими мальчишками.

Галка почти каждый день бывал у меня дома, в нашей большой двухкомнатной квартире. Мы вместе учили уроки, а потом играли в шашки. И обедали. Вкусные борщи, супы, макароны с котлетами, пирожки, кисели и компоты и даже хлеб со сливочным маслом Галка ел вместе с нами с удовольствием, не смущался, потому что ощущал нашу с мамой искренность и сердечность.

С робостью и восхищением он поглядывал на моего отца, который, ловя свободный часок-другой между полетами, иногда прибежал домой днем, чтобы «подавить ухо минут шестьсот». Рядом с диваном отец сваливал в кучу всю свою летнюю амуницию, от нее пахло бензином и еще морозом, ветром и небом; на спинку стула отец вешал планшетку и шлем. Он спал, бурно храпя, накрыв голову бархатной, расшитой матерью подушечкой, а Галка замороженно, удерживая дыхание, рассматривал и осторожно трогал его романтические одежды.

— Твой батя — сталинский сокол, — говорил он мне. — Счастливым ты, Сережка.

Галка подружился и с матерью. Смущался всякий раз, но брал пакет, который мать передавала его сестренке. Это она стала делать, когда заметила, что Галка не все съедает, а то ли котлету, то ли пару пирожков, то ли хлеб с маслом или еще что-нибудь из своего обеда у нас старается спрятать и унести домой.

Когда мама увидела, как он сует, обжигая руку, жирную котлету в карман, она засмеялась. Громко и весело.

— Смотри, Сережа, — сказала она мне, смеясь. — Смотри, как твой друг заботится о своей больной сестренке.

Я ничего не понимал. Галка покраснел и опустил голову.

— Что же ты, Петя, делаешь? — продолжала мама. — Во-первых, штаны себе жиром испортишь, а ведь их у тебя не так уж много... Во-вторых, котлета остынет, будет холодная и невкусная. Почему ты прячешься от меня? Ты считаешь меня жадной, да?

— Ну что вы, тетя Маш?!

— Тетя Маш, тетя Маш... Почему же не сказать своим друзьям прямо: я, мол, для сестренки хочу котлету приберечь... Обижаете вы меня, Петя...

С тех пор Галка неизменно уходил домой с пакетом для сестренки. Однажды мать хотела подарить ему сапожки, такие же она мне купила на толкучке. Была затяжная, пронзительно-холодная весна, Галка ходил с мокрыми ногами и отчаянно мерз.

После традиционного обеда мать, вдруг покраснев, сказала, что вот, мол, сапоги лишние оказались у нас, что Петя может их взять и носить на здоровье.

Галка побледнел, посмотрел исподлобья на мать, отчего она совсем смугилась, тихо сказал: «Что вы? Спасибо! Не надо!» — поблагодарил за обед и ушел, осторожно прикрыв за собой дверь. Потом он мне сказал, что больше не будет у нас обедать. И ни разу после этого не обедал с нами. Однако дружба наша продолжалась.

Играли мы в разные игры. Среди прочих была и такая: мы лазали и бегали, как обезьяны, по мертвым коробкам домов. Каких-либо правил эта игра не имела. Мы просто лазали, и все: вверх, вниз, по целевшим лестничным клеткам, по оголен-

тылом переплетам балок, по стенам и потолкам. И не было ничего в этой игре, кроме ощущения преодоленного страха перед высотой и гулкой пустотой обугленных пространств.

...Мы с Галкой сидели на опустошенном взрывом тяжелой бомбы потолке четвертого этажа, свесив ноги в зияющий провал, отвесно обрывающийся вниз равными кирпичными уступами до самой земли, на которой валялись груды обугленных кирпичей.

Над нами было небо и солнце, внизу ходили по улице маленькие люди. Свистел в перекрытиях ветер. Тяжелый самолет, сотрясая воздух и землю ревом, пронесся прямо над нашими головами.

— На посадку пошел батя, — сказал я и бросил вниз камень.

— Скажи, Сереж, а вот я, например, могу стать летчиком? — спросил Галка.

Он задумчиво смотрел в ту сторону, куда опустился самолет.

Таким я запомнил Галку. Не лицо его, а выражение его лица, как будто неясные видения своего будущего он старался увидеть там, откуда доносился гул севшего на аэродром самолета; и фигурку его запомнил, в черных трусиках и в ситцевой выгоревшей рубашонке, напряженно подавшуюся вперед.

— Ты? — удивился я. — Откуда я знаю... Надо смелым быть и сильным.

— А что, я трус, что ли?..

— Да нет, не трус...

Я смотрел на кирпичную отвесную стену перед нами, метрах в трех. На нее еще никто не забирался. Я приблизительно уже знал, что для этого нужно было сделать. Нужно было разбежаться по потолку четвертого этажа, на котором мы сейчас сидели с Галкой, прыгнуть через трехметровый провал, попасть ногой в небольшой выем стены напротив, одновременно уцепившись руками за вбитую в эту стену скобу. Потом подняться по уступам — и ты наверху. Там, где еще не ступала нога ни одного мальчишки! Заманчиво? И я сказал:

— Никто еще на эту стену не залезал. А ты залезешь?..

Галка посмотрел на стену, потом на меня.

— Не знаю... Боязно...

— Ну, вот видишь... А хочешь летчиком быть...

Галка помолчал, потом сказал:

— А ты, Сережа, залезешь?

Я растерялся и не знал, что ответить Галке. Но, конечно же, я сказал: «Да!», потому что просто не мог сказать: «Нет!», хотя смутно представлял себе возможность прыжка через эту каменную бездну.

— Да! — твердо сказал я.

Галка посмотрел на меня, и было в его взгляде сожаление, что я поторопился с ответом, он хорошо уже знал меня и понимал, что раз я сказал «да», то буду прыгать. Он испугался за меня.

А я уже встал у края провала, пробуя толчковую правую ногу, прикидывая расстояние до выемки и до скобы на противоположной стене. Я не смотрел вниз, старался не смотреть и все же один раз заглянул в бездну, и голова моя закружилась.

— Сережа, не надо! — умолял меня Галка. — Я так просто сказал. Не надо прыгать...

— Почему не надо? — бормотал я сквозь зубы. — Надо! Еще как надо! — твердил я себе, медленно отступая назад для разбега. — Отойди! — грубо крикнул я, потому что Галка пытался взять меня за руку и остановить. — Не мешай!..

Я ощущал тоску на душе, злость и отчаяние сжали мне горло; я отчетливо видел зияющую глубину этого провала с острыми краями выступов до самой земли, а на ней — груды битого кирпича.

И я понял, что не прыгну. Это было неожиданно, я никогда не думал, что могу

испугаться, и еще больше запискивал, у меня задрожали колени, и мольбы Галки уже были не нужны. Я вяло подбежал к краю каменной пропасти и остановился. Шатаясь, отошел от края, сел, уткнув голову в колени.

— Сереж, что ты, Сереж! — Галка растерянно суетился около меня.

— Да уйди же ты! — заорал я на него, и злые слезы выступили у меня на глазах. Я ненавидел свидетеля своего позора.

Наверное, Галка это понял, побледнел от обиды, растерялся совсем, не зная, как подступиться ко мне, заметался и вдруг прыгнул через провал, рубашонка парусом вздулась за его спиной; он точно попал правой ногой в выем стены, крепко схватившись за скобу.

— Сережа-а-а! — ликуя, закричал он. — Смотри, я перепрыгнул. Смотри же, я перепрыгнул!

Его лицо сияло. Я криво улыбнулся, вяло сказал:

— Молодец!

— Протяни мне вон ту палку, Сережа...

С помощью палки он легко прыгнул обратно и стоял теперь передо мной, возбужденный.

— Это совсем не страшно, Сережа... Ты только не смотри вниз, смотри прямо перед собой, смотри на скобу. И все! Ты прыгнешь, обязательно прыгнешь! Раз уж я прыгнул, то ты...

Он смущался, суетился и заискивал передо мной.

А я совсем разозлился и снова приготовился к бегу.

— Да ладно тебе, не учи ученого! — Оттолкнул Галку. — Не мешай!..

Но снова этот проклятый страх, этот тоскливый ужас! Он стремительно вполз в мое сердце, стеснил дыхание и сделал ватными ноги.

Я не мог сдвинуться с места, стоял и стоял, застыв, как бревно, в напряженной позе и был уже просто смешон, очевидно; но ничего не мог с собой поделать — я кожей чувствовал холод, овевающий меня из бездны, и точно знал, что не попаду левой ногой на выем стены, сорвусь и...

— Сережа, смотри, Сереж, — залепетал Галка. — Это не страшно. Это совсем просто. Не смотри вниз и беги. Смотри на скобу...

Я не двигался. И Галка снова побежал вперед, легко оттолкнулся, перелетел через провал, ударился всем телом о красную кирпичную стену и беззвучно исчез в провале.

— Галка-а-а! — в ужасе заорал я и, обдирая руки и колени о камни и рваное железо, ринулся вниз. — Помогите! Помогите, люди! Да помогите же! — кричал я, стоя на коленях подле Галки, распростершегося на битых кирпичках. Кричал, пока не прибежали люди...

...Я много ночей кричал во сне, потом заболел и надолго слег. Врач сказал, что это от сильного нервного потрясения.

— Он у нас очень впечатлительный мальчик! — сказала врачу мама и заплакала. — И Петю жалко, доктор, очень славный был мальчишка, но как представлю себе, что на его месте мог быть Сергей... О ужас! — Мама снова заплакала.

— Благодарите случай! — утешал маму врач. — А может быть — судьбу?.. Да нет, наверное, случай. Он вам оставил сына, а ту мать осиротил... Никто не виноват!

На похоронах Галки я не был. Мальчишки, когда пришли проведать меня, рассказывали, что много народу его хоронило, многие плакали...

После выздоровления я сразу полез на потолок четвертого этажа этой мрачной каменной коробки, не колеблясь, прыгнул через провал, четко попал ногой в выем противоположной стены, цепко ухватился за скобу. Потом прыгнул еще несколько раз кряду, глядя вперед, а не под ноги. Так, как учил меня Галка.